

Александр Анин

Миллион миллионов, или За колёсиком



Александр Анин

**Миллион миллионов,
или За колёсиком**

«Автор»

2013

Анин А.

Миллион миллионов, или За колёсиком / А. Анин — «Автор»,
2013

В размеренную жизнь владельца казино, по всем меркам, успешного человека, вторгается нечто. Случайная находка на заднем дворе игрушечного колесика оборачивается настоящим кошмаром. Казино терпит убытки. Погибает близкая ему женщина. Сын становится преступником. А сам он на грани нервного срыва. Разве мог он предположить, что все происходящее мистическим образом связано с миром его детских фантазий...

© Анин А., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Первый день, воскресенье	5
Второй день, понедельник	13
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александр Анин

Миллион миллионов или За колёсиком

Первый день, воскресенье

Шагнув за дверь из полумрака прихожей, Мхов на мгновение слепнет от низкого утреннего солнца, тут же что-то большое и тёмное, метнувшись из-под крыльца, чуть не сшибает его с ног. Горячее и мокрое плотно проходится по лицу, часто и шумно дышащее тяжело виснет на плечах.

– Пшёл! – с перепугу громче, чем надо орёт Мхов. – Пшёл вон, с-собачье отродье!

Рослый, поджарый доберман, распластавшись в длинном прыжке, сигает вбок через перила; припав к траве, пёс гулко и быстро лает, будто смеется.

– Вот я тебе! – хозяин грозит любимцу кулаком. Тот вскакивает, мчится по двору галсами, словно быстрый черно-коричневый парусник: миновав дом, по изящной кривой огибает фонтан и скрывается в цветнике.

– Оба-на! – Мхов хлестко в четыре пальца свистит ему вслед и сильно до хруста в костях потягивается. – Ма-аш! – зовёт он. – А Маш!

Жена показывается из маленькой ротонды, увитой начавшим желтеть плющом. За ней, держась за длинную холщовую юбку, семенит дочь. Дарья копия мать: такая же светловолосая, широкая в кости, крупнотелая, всё это с поправкой на четырехлетний возраст, разумеется. Зато сын...

– Проснулся, Мхов? – шурясь на солнце, говорит жена.

– Пр-роснулся, Мхов? – эхом важно пищит Дарья. Она только недавно выучилась варить «р» и теперь явно гордится этим своим новым умением.

– А вы давно? – спрашивает в ответ Мхов.

– Я уже на рынок успела. Парного молока хочешь? – Мария одной рукой наматывает на пальцы свой длинный белый локон, другой – делает то же самое на голове дочери.

– Сама? – Мхов хмурится.

– Что сама?

– На рынок что-ль – сама?

– Ну.

– Во, блин! – Мхов сердится. – Сколько раз говорить: надо чего – позвони, кто-нибудь из ребят подскочит!

– Володю я на воскресенье отпустила. С матерью у него чего-то там. И у Кати выходной. И у остальных. Карл-Хайнц с Фридрихом тоже с утра пораньше в Москву подались. – Мария машет рукой в сторону МКАДа. – Молока-то налить?

– Как об стенку горох! – кипятится Мхов. – Я вот Срамному скажу, он тебе мозги вправит! А?!

Жена всерьез пугается.

– Ну Кирюш, ну не надо Срамному, ну его на фиг, Берию, я больше не буду, честно! – Мария прижимает ладони к своей большой заметно отвисшей груди, умоляюще смотрит на мужа.

Срамной, Петр Арсеньич, – начальник его службы безопасности, бывший генерал хрен её знает какой советской спецслужбы, жена боится его, как огня.

– А-а-а, – торжествующе-уничтожающе тянет Мхов, – смотри. – Усаживается на ступеньку крыльца. – Молоко-то давай...

Мария ныряет обратно в ротонду, Даша – вприпрыжку за ней. Через полминуты жена появляется вновь, бережно ведя дочь за плечи. Та, осторожно ступая, обеими руками держит большой хрустальный стакан, доверху полный прохладным, густо-белым.

– Спасибо, – говорит Мхов, принимает стакан у дочери, ласково треплет ее мягкие волосы. Залпом пьет, проливая на подбородок. Выпив, шумно переводит дыхание, утирается ладонью.

– Завтракать будешь? – спрашивает жена, забирая стакан. Дарья тянется к пустой посудине. Отобрав у матери, с достоинством несет стакан обратно в ротонду.

– Позже, – прислушивается к себе Мхов. И вдруг вспоминает, зачем, выйдя на крыльцо, позвал жену.

– Маш!

– А?

– Слушай анекдот.

– Давай.

– Так. Я родился под знаком Земли. Моя жена родилась под знаком Воды. Вместе мы создаём грязь.

– Всё?

– Всё.

Жене анекдот пришелся явно не по душе.

– Дурак ты, Киря.

– А что? – искренне удивлён Мхов. – Смешно.

– Смешнее не бывает. Сам сочинил?

– Куда мне. Карл-Хайнц вчера рассказал. Я с немецкого перевел. У них, у немцев, юмор такой.

– У них, у немцев, юмор тако-о-ой, – задумчиво тянет Мария, – уж тако-ой-растако-о-ой...

– Алёшка где? – спрашивает Мхов о сыне.

– В мастерской, в гараже. Изобретает чего-то там.

– Пойду посмотрю.

Мхов легко встаёт с крыльца и, не спеша, шагает через свои владения. Строго вычерченные дорожки ведут его мимо дома, вокруг фонтана, сквозь сад с альпинарием, вдоль зимнего сада, через спортплощадку к хозяйственным постройкам, а там позади, за домом, осталась баня, рядом бассейн. «Поплывать что ль сегодня, – прикидывает Мхов, – да нет, начало октября, холодно, пора бассейн консервировать на зиму, хотя опять же нет, попозже, вот немцы доделают пиротехнику, позову людей, запущу салют с фейерверком, в воде это будет красиво отражаться, устроим закрытие сезона, так сказать...»

В полумраке гаража полоса света виднеется из-под двери мастерской. Мхов направляется туда, двигаясь вдоль короткой шеренги автомобилей, выстроившихся, как на парад. Первым, правофланговым, салютует «шестисотый», матово блестя иссиня чёрными боками. Рядом квадратно горбится его брат, блестящий чёрный «баварец» G500 гелендаваген, разъездной джип. Третий братец – понтово-серебристый Машкин «мерин» C200 спорткупе. Наконец, четвёртым замыкает строй развратно-алый «англичанин», «ягуар» XK8 кабриолет, машина, купленная, что называется, для пущей красоты.

Мхов подчеркнуто уважительно стучится в дверь мастерской, ломкий голос сына коротко отвечает:

– Ага.

Алёша сидит на высоком табурете, облокотившись о верстак и, не отрываясь, следит за работой стоящего перед ним небольшого механизма. В чем заключается эта работа и что это собственно за механизм, Мхов не понимает; встав за спиной у сына, он удивленно разглядывает

нечто, построенное из старого метронома, конусообразного прибора в деревянном корпусе, принадлежавшего матери Мхова, Алёшиной бабушке.

Метроном, установленный на *allegro*, громко стучит в тишине мастерской, мерно и быстро качается из стороны в сторону тонкая, потемневшая от времени, металлическая стрела. Это-то само по себе понятно, но зачем у вершины прибора вертикально закреплён циферблат от будильника? Зачем и за счёт чего ходит туда-сюда резиновый приводной ремешок, выходящий из основания метронома и пропущенный над втулкой позади циферблата? Что, в конце концов, означают движения циферблата, раскручиваемого приводным ремнём сначала по часовой стрелке, а потом против? Или наоборот? Сначала против, а потом по часовой?

Мхов отчего-то медлит спросить, не решается оторвать сына от напряжённого вглядывания в функционирование странного механизма. Он лучше подождёт. Прибор работает, по всей видимости, уже давно; слишком часто сын моргает, трёт уставшие глаза. Скоро кончится завод, метроном остановится, тогда можно будет обо всём разузнать.

Так и есть. Через какие-то минуты качание стрелы становится натужным, приводной ремешок тормозится, частота колебания циферблата уменьшается, наконец, стрела застывает в крайнем правом положении, не в силах совершить обратный ход. Стоп машина.

Сын вздыхает, морщась, трёт затёкшие локти, улыбается отцу.

– Что это, Лёш? – спрашивает Мхов, как ему самому кажется, слишком всерьёз.

Алексей смущённо пожимает плечами, потом говорит:

– Машина времени.

– Времени? – Мхов несколько озадачен, он, скорее, ожидал услышать про что-нибудь вроде вечного двигателя. Машина времени, по его мнению, – это не в меру серьёзно для 12-летнего пацана, пусть даже такого продвинутого, как его сын. Тот молчит, и Мхов продолжает:

– И как она работает?

– В каком смысле? – немного растеряно спрашивает Алексей.

– В смысле времени, – не отстаёт Мхов. – Как на ней... э-э-э... путешествовать?

– Путешествовать? Куда? – сын вроде как удивлён.

– Как куда? Это же машина времени, ты говоришь? Значит, по времени.

Алексей осторожно дотрагивается до прибора пальцем, улыбается – больше, похоже, внутри себя.

– Так как? – Мхов начинает терять терпение.

– Пап, я думаю, что по времени путешествовать нельзя, – вдруг решительно произносит сын и глядит на отца серьёзно, излишне серьёзно, думает Мхов.

– А зачем тогда эта машина? – И усмехается, сын сам загнал себя в тупик.

Алексей пробует объяснить:

– Время, оно как бы само... а машина времени его...

– Что само? Куда его? – наседает Мхов.

– Пап, ну я не знаю как это сказать!

Мхов немного утомился:

– Ну ладно, ты скажи, что вообще должно происходить?

Сын разводит руками:

– Пока не знаю. Может, уже происходит.

– Ну-ну. Можно посмотреть? – Мхов берёт механизм в руки. – Так, это понятно, так...

А сам-то ремешок у тебя от чего запускается?

– Стрелка метронома толкает штуку одну там внизу, – объясняет Алексей, – а от неё уже ремешок...

– Что за штука?

– А тыними нижнюю крышку.

Мхов берет с верстака отвёртку, переворачивает метроном и принимается за винты в его основании. Всё-таки сын у него, что надо сын, умный парень, рукастый. Да и он сам молодец, что проявляет интерес к его интересу, потому как...

Оба-на!

Рот Мхова мгновенно наполняется кислой слюной, ноги слабеют, сердце щемит от чёрной тоски. Он застывает, тупо уставясь в нутро изделия, сработанного руками его сына. К горлу подкатывает тошнота, Мхов изо всех сил борется с ней, конвульсивно сглатывая дурную слюну. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но сын, встревоженный произошедшей с ним переменой, прогоняет наваждение.

– Пап, а пап! – Алексей теребит рукав его рубахи. – Ты чего, а?

К Мхову постепенно возвращается способность соображать, говорить, действовать. Он слабо кивает на предмет, закреплённый в основании метронома:

– Ты где это взял?

– Нашёл.

– Где?

– За домом. За бассейном. А что?

– Ничего-ничего. – Мхов старается быть спокойным. Так. За домом. За бассейном. То есть там, где давным-давно, во времена его детства, была зольная яма. И где теперь, как и по всему участку, копаются немцы, устраивая, прокладывая свою хитрую пиротехническую систему. Ну понятно. Ладно.

– Ты знаешь что, Лёх, – осторожно говорит он. – Давай мы сюда что-нибудь другое подберём. Приладим. А это, – он показывает на облезлую металлическую штучку, – я того... Ладно?

Сына разбирает любопытство. Оно оказывается даже сильнее чувства протеста, знакомого каждому, чью работу хотят испортить. Он спрашивает:

– А что это, пап? В чем дело-то?

– Да ничего, ерунда. – Мхов уже поддевает отверткой так переполошивший его предмет, расшатывает, достаёт его на свет божий.

– Только осторожно, – бубнит Алёша, – не повреди там ничего.

Сын, похоже, всё-таки обиделся, ну ладно, переживёт.

– Да нет, я ж потихоньку, – Мхов демонстрирует Алексею неповреждённое нутро прибора, – а на это место мы что-нибудь подыщем. Ещё лучше. Зачем тебе этот хлам?

Извлечённый предмет неприятно холодит ладонь, Мхов прячет его в карман брюк. Говорит:

– Пойдем, Лёха. Мама завтракать ждет.

Сын, не глядя на отца, неохотно слезает с табурета, собирает инструменты, прячет свою ополовиненную машину в железный шкаф. Они выходят из мастерской, потушив за собой свет, покидают гараж, запирают двери. Обратный путь к дому двое проходят, не проронив ни звука. Расстроенный сын явно не хочет говорить, Мхову тоже есть о чём помолчать. Старая обожжённая железка слегка оттягивает карман, царапает кожу через тонкую ткань. «Время, оно как бы само, – вспоминает он слова сына. – Вот именно. Мы его не звали, а оно вот оно. Само. Как бы. И что теперь с ним прикажете делать?» Мхов вдруг замечает, что вокруг заметно потемнело. Он озабоченно глядит вверх. Солнце, ещё полчаса назад обнажённое посреди ясного неба, быстро затягивается сухими белёсыми облаками. Поднимается ветер, становится зябко. Мхов кладет ладонь на хрупкое плечо сына. Тот хоть и не отодвигается, но и не делает движения навстречу.

– Р-р-р-гав!!!

Откуда ни возмись, из зарослей акации вылетает доберман, разряжая обстановку, дружелюбно рычит, носится вокруг отца с сыном. «Ничего, – думает Мхов. – Обойдётся».

Жена, завидев их издалека, кричит:

– Накрываю?

Мхов кивает ей навстречу, давай, мол.

– Руки мыть, – говорит он сыну. В отцовской ванной они по очереди мылят ладони пахучим мылом, вытирают руки полотенцами, сушат под горячей воздушной струёй. Алексей вдруг ни с того ни с сего спрашивает:

– Пап, а зачем бреют подмышки?

Мхов рад и этому.

– Для чистоты, для гигиены, – охотно объясняет он. – Вырастешь, тоже будешь брить.

– А мама бреет подмышки?

Мхов слегка обескуражен.

– Ну... да. А почему ты спросил?

Сын объясняет:

– Фридрих говорит, что у них в Германии многие женщины специально не бреют подмышки. Почему?

– Хм. Почему. Надо же. Ну и фиг с ними.

– С кем?

– С Фридрихом. С Германией. С их германскими... Давай, пошли, мама ждёт.

Но уже за порогом ванной Мхов, словно вдруг до конца додумав какую-то мысль, отменяет своё решение завтракать. В прихожей он надевает теплую куртку и, выйдя во двор, говорит жене, накрывающей на стол в ротонде:

– Маш, вы начинайте, завтракайте, меня не ждите. Я ненадолго.

– Да куда ты? Поешь сначала.

– Не, я скоро, мне тут надо кое-что.

И быстро шагает за ворота. Сын долгим взглядом смотрит ему вслед.

Мхов идёт по поселку в сторону озера. Он не слишком смотрит по сторонам, ему тут всё и так знакомо с детства. Хотя это больше касается ландшафта. Большинство же строений изменились и очень. Раньше это всё были крепкие дачи руководящих работников районного уровня. Теперь же преобладают богатые особняки, возведённые на месте старых дач такими как он или почти такими. Те, у кого лучшие времена остались в прошлом, кто не смог обосноваться в новом времени так же по уму как в старом, продают свои участки (сам Мхов таким образом прирезал к родительским тридцати соткам ещё шестьдесят) и строятся в местах попроще. И это правильно. Жить нужно в своём круге, среди своих, чтобы не было зависти и злобы.

Между тем, ветер с каждой минутой становится всё сильнее. Мхов застёгивается на все пуговицы, убыстряет шаг. Спустившись к озеру, он останавливается у самой кромки воды. Облака, ставшие вдруг тёмными, уже обложили небо до самого горизонта. «Как-то слишком быстро», – думает Мхов. Вода в озере, обычно светлая и почти прозрачная, сейчас мутна и тяжела, крупная рябь катится по поверхности. Ивовые заросли вдоль берега шумят под ветром так, будто сделаны из жести.

Мхов опускает руку в карман. Странно, железка и в кармане остаётся пугающе холодной, ну да хрен с ней, недолго ей ещё. Он внимательно рассматривает её, почерневшую от огня и долгого лежания в земле. Затем заносит руку над головой, на какое-то совсем короткое время замирает (в голове противно гудит, словно её подключили к высоковольтной линии электропередач, а может это ветер колотится о барабанные перепонки), потом резко, до боли в плече, отводит руку назад и с силой забрасывает лишнюю ему вещь в озеро.

Та очень долго, до рези в глазах долго, кувыркается по высокой дуге, на мгновение зависает в осеннем воздухе, обречённо валится вниз, плюхается в воду, очень медленно, как ему представляется, тонет, как утонули два года назад в Карибском море его отец и мать.

Родители, нарядные, стояли на крыльце дачи, глядели, улыбаясь, как их сын с неуклюжей важностью вылезает из отцовской служебной машины. Сегодня у него особенный день, четвёртый такой день с начала жизни и первый – хорошо запомнившийся.

Ранним утром отцовский шофёр Николай остановил «двадцать первую» «Волгу» с хромированным оленем на капоте у ворот их дачи. В общем-то он всегда приезжал примерно в это время, чтобы везти отца на работу. Но сегодня-то было воскресенье, и Николай приехал не за отцом, а за ним, Кириллом. Именно он, Кирилл, слышав призывное «би-би-и-ип!» от ворот, выбежал из дома и под довольными взглядами родителей взобрался на переднее пассажирское сиденье красивой черной машины.

– Поехали? – улыбаясь одними глазами, спросил его Николай.

Кирилл только кивнул в ответ, еле справляясь с волнением. Ещё бы! Сегодня он впервые едет в отцовской машине один с водителем, как настоящий взрослый. И не просто едет «прокатиться до угла», и даже не до детского сада, до которого от городской квартиры всего-то ничего, а *отправляется в дорогу*, у которой есть начало, середина и конец. А главное, есть то единственное, что отличает настоящую дорогу от ненастоящей – а именно наличие предмета, отвечающего на вопрос «зачем?». Он едет *смотреть Москву*.

Вот Николай пошевелил каким-то рычажком под рулевым колесом, надавил где-то внизу ногой, машина мягко взвыла, мать запоздало крикнула от ворот:

– Коля! Вы там поосторожней, смотрите!

И они тронулись!

Конечно, он не запомнил в точности весь маршрут. Он впервые увидел Москву вот так вот *сразу*, поэтому поездка отложилась в его детской памяти в виде огромной суммы впечатлений от городских пространств, умытых коротким майским дождем и тут же высушенных ясным ранним солнцем.

Проспекты, переходящие в улицы.

Улицы, вливающиеся в площади.

Подмигивающие всеми тремя глазами светофоры.

«А это что?» «Спидометр».

Тяжёлые тёмные памятники на площадях.

Ряды глазающих окнами длинных высоких зданий.

Его рука, высунутая в открытое окошко и отброшенная назад встречным ударом воздуха.

«А это?» «Рычаг переключения передач».

Снова улицы, потом бульвары.

Регулировщики с полосатыми жезлами в руках.

Округло-точные движения рук и сосредоточенность взгляда Николая, ведущего машину дальше, дальше.

Стая голубей, с шумом взлетевшая прямо из-под колес.

«А там?» «Педали сцепления, тормоза, газа».

Закованные в камень набережные и ажурные металлические мосты.

Широкая река с пароходами прямо посреди города.

«А погудеть?» «Би-ип! Би-би-ип!»

Захватывающая, ярко выкрашенная утренним солнцем звездно-башенная панорама Кремля.

– Ну что, домой?

– Нет! Ещё!

– Родители сказали, чтоб к девяти назад. – Водитель озабоченно поглядел на часы. – Надо слушаться. Нельзя опаздывать.

Ну, раз родители... Тут уж ничего не поделаешь. На свой детский лад он понимает, что целиком зависит от них и весь в их власти. Зависимость эта столь безысходна, а власть столь всеобъемлюща, что нечего и пытаться хоть сколько-нибудь овеществить нарождающееся в нём чувство протеста. Да и зачем? Что толку в голом, ничем не подкрепленном протесте? Его капитал – послушание; проценты с этого капитала – родительская любовь, выраженная, в частности, в приятных мелочах, вроде сегодняшней поездки.

И вот он благодарно-важно вылезает из машины. Отец и мать, довольные, встречают на крыльце.

– Как покатались? – поинтересовался отец.

– Во! – он лихо выставил перед собой поднятый вверх большой палец.

– Ну и отлично. Молодец!

– Коля, зайдите, выпейте с нами чаю, – пригласила шофёра мать.

– Пошли, Николай, – поддержал отец.

В глубине дома звонко затренькал телефон.

– Беги быстрее, – заулыбалась мать. – Это звонит Юрий Гагарин поздравить тебя с днем рождения.

Из черной трубки доносятся поначалу невнятные вопли жены. Потом из них вычлениются отдельные звуки, складываются в слова.

– Кирилл! Кирилл! Ой, Кирилл! Лёшка! Лёшка! Ой, что делать, не знаю!

– Что стряслось?! Говори, что?! – он до ломоты в суставах сжимает трубку мобильного, корпус трещит в кулаке. Ноги уже сами несут его сквозь ещё более усилившийся ветер – назад от озера к дому.

– Лёшка! Дорсета! Лёшка! Дорсета! – без особого смысла продолжает причитать жена.

– Да что Лёшка?! Что Дорсета?! Говори по делу, твою мать! – Мхов едва перекрикивает разгулявшуюся природу.

– Лёшка Дорсета уби-и-ил! – наконец вытягивает из себя Мария и принимается безудержно, тяжело рыдать.

«Что за бред! Сын убил их собаку?! Такого просто не может быть! Так что же тогда жена? Умом она двинулась, что ли? Нет, ерунда. Значит, что-то действительно случилось. Но сами по себе эти три слова: «Лёшка», «Дорсета» и «убил», – рисуют слишком лаконичную и оттого совершенно невероятную картину. Чувствую, какая-то! Эти три слова никак не могут стоять в одном ряду, они просто не способны согласоваться друг с другом. Да! Не будучи хотя бы оправданы каким-то привнесенным обстоятельством, которое сообщит немыслимой картине, что нарисовала жена, некий житейский смысл».

Думая так, Мхов на бегу пытается разгадать за бабской истерикой рациональный ход, способный хоть не сразу, но примирить его с происшедшим, и уже у ворот дома вдруг догадывается, что в давешней последовательности не хватает слова «случайно». Или же – «нечаянно». То есть, сын случайно, или нечаянно, или лучше случайно-нечаянно убил собаку. А, может, и не убил вовсе? Может, ранил? А жена всё напутала? Но как такое вообще могло случиться?!

Мария в косо наброшенном пальто, давясь плачем, встречает его у ворот. На его «Ну! Ну! Ну!» она как-то ломано машет рукой:

– Там... Возле бассейна...

По дороге Мхов натывается на взгляд сына, прямо стоящего в дверях дома. В глазах у Алексея страх, Мхов пробегает мимо. Уже издалека, увидев, в какой позе находится собака, он защемившим сердцем понимает, что дело плохо, окончательно плохо.

Добежав, он видит, что доберман лежит, нет, валяется неодушевлённым предметом у борта бассейна. Его голова безжалостно разбита, нет, размолочена в прах тупой силой. Оружие тупой силы и одновременно её торжество в виде массивного слесарного молотка брошено рядом; кровь собаки вперемешку с клочками шерсти и фрагментами мозга уже почти запеклась на равнодушном металле. Мхов какое-то время горбится над телом Дорсета, без чувств, без мыслей, без желаний. Потом накрывает курткой начавший холодеть труп и бредёт к дому.

Жена как-то скукожилась, плачет, прислонясь к перилам лестницы. Сын всё так же стоит в дверях, его бьёт крупная дрожь. Что до Мхова, то теперь, увидев своими глазами, во что превратился Дорсет, он уверен: не может быть. Поэтому он спрашивает:

– Кто это сделал?

И, упёршись в молчание, спрашивает снова:

– Кто?

– Это не я!!! – неожиданно изо всех сил кричит Алексей.

Мхов тупо глядит на сына, дескать, чего разорался-то?

– Кто? – безнадёжно настаивает он.

– Да Лёшка это, – тихо роняет Мария. Она уже не плачет, смотрит на сына снизу вверх со страхом, и как будто не узнавая.

– Это не я! – снова кричит Алексей! – Не я! Не я! Не я!

– Когда ветер поднялся, – монотонно говорит жена, – мы в дом перешли. Я стала на кухне накрывать, Даша со мной была.

– Где Дарья? – вскидывается Мхов.

– В доме. Ну вот. А он, – Мария кивает на сына, – вышел.

– Пап, я тебя посмотреть пошёл! – Алексей вцепляется в перила. – К воротам!

– Потом я услышала визг Дорсета. Нет, крик... Страшный. – Голос жены срывается. –

Потом тишина.

– Я тоже услышал!

Алексей всем телом подается вперед, глядя на отца умоляюще.

– Я побежала посмотреть. Дорсет... там... И он...

– Я первый прибежал! И первый увидел!

Сын уже плачет.

Мхов стоит молча, словно вспоминая что-то. Вспомнил. Поворачивается, быстрым шагом доходит до бассейна, поднимает с земли окровавленный молоток и так же быстро возвращается обратно. Показывает Алексею.

– Это что?

– Молоток, – проговаривает сын сквозь слезы. – Там лежал.

– Боже, – роняет Мария.

– Откуда молоток?

– Из... из...

– Мастерской, – договаривает за Алексея Мхов.

– Я не убивал!!! – надрываясь, кричит сын. – Папа! Почему ты мне не веришь?! Я же тебе никогда не врал!

– Ты что, уже там, в гараже, спланировал? – быстро спрашивает Мхов, сам поражаясь, как дико и глупо это звучит. – Почему? Из-за чего? Из-за этой железки?! При чем же тут собака, засранец?!!

Нервы у Мхова наконец сдают. Он с силой швыряет тяжёлый молоток на ступени крыльца, мелкие осколки красного мрамора летят во все стороны.

Сын уже ничего не говорит, он захлёбывается рыданиями, вслед за ним снова принимается рыдать жена.

Второй день, понедельник

– Сознавайся, сука! – в который раз повторяют человеку, сидящему на красно-бархатном золоченом троне. Трон стоит посреди обширного подвала, в подвале зябко, пахнет сырým камнем.

Человек этот, хоть и сидит на троне, не похож на короля, он вообще уже чёрт знает, на что похож. Его ноги туго привязаны к ножкам трона, руки – к подлокотникам, лицо основательно раскурочено, белки выкаченных глаз заплыли кровью. Рубашка на нём разорвана, грудь сильно обожжена. Брюки спущены до щиколоток; туда, где у мужчин находится причинное место, Мхов, устроившийся чуть поодаль на гнущем стуле, старается не смотреть. Сбоку трона за маленьким круглым столом громоздится генерал Срамной; покачивая безукоризненно подстриженной красивой седой головой, он тихим ровным голосом спрашивает у человека на троне одно и то же: «Кто ты такой?» и «На кого работаешь?». Вообще-то вопросов к человеку гораздо больше, но сначала пусть ответит хотя бы на эти.

Только в ответ на вопросы, даже такие легкие, человек молчит, молчит уже почти сутки, несмотря на то, что его обрабатывают, сменяя друг друга, без перерыва двое людей Срамного – одного кличут Тайсон, другого – Пластилин.

Сейчас как раз смена Пластилина. Высокий, худой, с длинными ладонями в белых хирургических перчатках и со смятым на одну сторону лицом, он после каждого вопроса генерала что-нибудь этакое делает с человеком на троне. Приговаривая: «Сознавайся, сука!» Но всё без пользы. Когда Мхов полчаса назад появился в подвале, Срамной вполголоса доложил: «Клиент, хм, мало сказать сложный – глуховой клиент. Не поверите, Кирилл Олегович, за всё время – ни единого звука. Я человек повидавший, сам претерпевший изрядно, но ни наблюдать такого, ни хотя бы слышать о таком не приходилось».

«Зачем я пришёл сюда?» – нехотя думает Мхов, примостясь на неудобном стуле, глядя в окровавленные глаза человека на троне. Тот в свою очередь упёрся мутным взглядом в зрачки Мхова, будто желает что-то сказать ему одному. Так, по крайней мере, кажется Мхову. Но ему не хочется фиксировать внимание ни на чем, что происходит в подвале. Не его это работа, хотя интерес – его. «Идти надо отсюда», – думает он. Тем временем Пластилин, выудив откуда-то толстую сапожную иглу, остро приглядывается к человеку в кресле, явно вознамерившись загнать тому свой инструмент под расплюснутый ноготь.

О, игла под ногти – это хорошо знакомо Мхову! Этот достающий до мозга особый хруст и ослепляющая боль... Боже, как давно это было! «Всё, ухожу», – решает Мхов. Туда, где внизу плавно колыхается тёмно-синяя лента Рейна. Где вверху, в тумане посреди мощных горных вершин, как продолжение самого высокого утеса, серебряно-ледяной глыбой устремился к небу зубчатый замок. А Вотан и Логе, скроив страшные лица, волокут превращённого в жабу связанного Альбериха. Блудливого горбуна-нибелунга, захотевшего править миром и так неосмотрительно купившегося на проговорку русалки Воглинды:

*Кто без любви
прожить рискнёт,
кто женских чар
отвергнет дар,
тот лишь один - волхованьем —
всесильное кольцо скуёт!*

И вот теперь глупому, злобному карлику предстоит вернуть доставшееся столь дорогой ценой кольцо из рейнского золота, напоследок успев лишь послать подальше его нового владельца.

Каменные своды подвала массивны и глухи, но даже сквозь них пробиваются мощные, накапистые звуки оркестра; там, наверху, началась четвёртая, последняя сцена «Золота Рейна», предвечерия вагнеровского «Кольца нибелунга».

Мхов быстро встаёт, отодвигает в сторону реквизитный стул, последний раз вглядывается в человека, сидящего на реквизитном троне, и, кинув на прощанье своим людям: «Продолжайте, работайте», – покидает мрачное подземелье в необитаемой части здания. Здесь, среди всякого хлама и ненужного реквизита, начальник службы безопасности оборудовал для себя что-то вроде полевого офиса. Надежная металлическая дверь захлопывается за Мховым, громко лязгает кодовый замок.

Миновав пост охраны, он поднимается наверх по длинной винтовой лестнице с громоздкими коваными перилами. Долго идёт по слабо освещённым служебным переходам театра. Проходя мимо артистического буфета, он замечает там театрального завлита; тот, сидит за столом (бутылка коньяка «Арагат», пара лимонов и тарелка с сёмгой), жутко матерится, громко доказывая что-то своему соседу. Тот, небольшой грузный человек в толстых очках, молчит, безглаголиво улыбается, катая по поверхности стола пустую рюмку.

Завлит переферийным зрением ловит Мхова, спешащего мимо, бросается к нему.

– Кирилл Олегович!

Мхов неохотно приостанавливается. Завлит, его фамилия, кажется, Монтенелли не то Монегетти, в общем, из некогда обрусевших итальянцев, говорит быстро, беспричинно восторженно, без пауз, как фокусник крутя во все стороны руками. За его словами Мхову чудится океан безумия.

– Кирилл Олегович, у вас есть одна секунда?! Кирилл Олегович, я насчет мяса! Я помню наш разговор! Полгода назад! Я говорил вам про мясо! Вы не забыли?! Вы говорили, что нам нужно что-то, что... Я сразу тогда подумал про мясо! Вы в принципе одобрили! Мясо! Кирилл Олегович! Вон он сидит! Гениально! Ни один театр не берет! Он согласен! Перелопатить для нас мясо! Но хочет больше денег!

– Кто? Каких денег? Какое к ебени матери мясо? Что вам надо?

Мхов старается говорить тихо, напряжение последних дней и часов сказывается, ему очень хочется изо всех сил ударить в это скачущее перед ним по-средиземноморски смазливое лицо.

Монтенелли-Монегетти немного озадачен. Но ничуть не сконфужен.

– Мясо? Ну мясо же! А! Да не мясо! А мя-со!

– Пошёл. Вон, – задыхаясь от злобы непонимания, чётко выговаривает Мхов одними губами.

И идёт прочь, оставив позади остолебеневшего завлита.

По дороге он немного успокаивается, но всё равно у входа в свою ложу несколько задерживается, делает пару-тройку глубоких вдохов, нацепляет на лицо меланхолическую улыбку. Охранник Пётр на всякий случай заучено лыбится в ответ (Мхов запрещает телохранителям постоянно иметь на физиономиях «профессиональное» бесстрастно-идиотское выражение), предупредительно открывает тяжеленную резную дверь. Мхов бесшумно переступает через низкий порожек и оказывается в бархатном сумраке ложи.

Клара не замечает, не чувствует вошедшего Мхова, потому что оркестр как раз вовсю гремит, сопровождая нешуточную истерику Альбериха. Только что Вотан силой отнял у него кольцо и теперь оказавшийся ни с чем нибелунг, бешено хохоча, кричит:

Не слышите вы

*Мою боль?!
Услышите тогда проклятье
в слове моём!
Я ковал взамен любви
тебя, моё кольцо!
Ненависть —
отныне твой дар!
Ха! Будь же смертью
для взявших тебя!*

Клара сидит, расслабленно откинувшись в кресле, закинув ногу на ногу. Высокий разрез на чёрном вечернем платье открывает длинное узкое бедро, затянутое в тёмный чересчур прозрачный чулок. Голая худая рука то и дело таскает шоколадные конфеты из коробки, стоящей на обводе ложи, и кладет их в ярко накрашенный рот. Клара при всей своей видимой изысканности немного вульгарна, но это-то сочетание больше всего и нравится в ней Мхову.

Он долго любит её, потом подбирается сзади, кладет руку на смуглое плечо. Клара не вздрагивает от неожиданности, для неё просто не бывает неожиданностей, она всегда готова ко всему. Она усмехается, не отрывая глаз от происходящего на сцене.

Там, выплевывая последние слова в лица богов, Альберих тоскует по утерянному кольцу.

*...я дождусь времён,
когда ты опять моим будешь!
Но ныне, в муке моей, —
ха! Проклято будь, кольцо!*

Мхов усаживается рядом с Кларой. Клара на него ноль внимания, только положила горячую продолговатую ладонь на его колено. Вникает в разборки близ Валгаллы и лопаёт конфеты; полоска растаявшего шоколада обрамляет алую помаду на её губах. Мхов расслабляется, думает о своём. Невесёлые мысли проклёвывают его темя изнутри черепа.

Вчера вечером он попробовал по душам поговорить с сыном, хоть и нелегко ему было: он только что закопал добермана под кустом пузырьника в укромном уголке сада, перед тем завернув собаку в чёрную пластиковую плёнку. Разговора не получилось. После первых же его слов Алексей ударился в самую настоящую истерику, агрессивную и бессловесную. Мхов вынужден был оставить его в покое, так и не получив ответа на вопрос «почему?». Больше всего напрягает то, что сын так и не признался в содеянном. Не так страшна ересь, полагали инквизиторы, как упорство в ереси. А инквизиторы знали в таких делах толк. Ведь признание — это почти раскаяние. А в непризнании, в нераскаянии есть что-то ещё более зловещее и опасное, чем само по себе преступление. Затаённое зло — вот что там есть.

Тем временем на сцене боги, наконец, уговаривают строителей Валгаллы, братьев-великанов Фазольта и Фафнера, взять за работу всё золото Рейна плюс в качестве бонуса злосчастное кольцо нибелунга — всё это взамен обещанной им ранее молодой богини Фрейи. Только-только великаны начинают промеж себя делёж, как в кармане у Мхова сигналит мобильный телефон. Звонит Срамной.

— Кирилл Олегович, я тут наверху у дверей. Будьте добры выйти на минуту, не телефонный разговор.

Мхов выходит. Срамной деликатно берет его под руку, отводит в сторонку.

— Кирилл Олегович, а клиент-то дуба дал.

Не дождавшись никакой реакции, генерал пускается в подробности.

– Вы ушли, мы продолжили. К сожалению, с прежним успехом. А десять минут назад, – Срамной коротко глядит на золотой «Лонжин», тонко гармонирующий с золотыми же запонками в манжетах добротной сорочки, – так вот, десять минут назад он как-то... устал и...

– Что вы сказали? – удивлённо переспрашивает Мхов.

– Я сказал, что он как-то... устал.

– Как это? Что вы имеете в виду?

Срамной поджимает губы.

– Было такое впечатление, что он именно устал.

– От чего?

– От всего. От нас.

– А из чего сложилось такое впечатление? – продолжает допытываться Мхов, сам не понимая, зачем ему это нужно.

Срамной сосредотачивается, припоминая.

– Ну, из того, как он посмотрел, как вздохнул, пошевелился, переменил позу, наконец.

– Хорошо. Устал. И что дальше?

– Дальше? Дальше ничего. Закрыл глаза. И помер.

– Вот так вот взял и помер.

– Именно так, Кирилл Олегович. Я же говорю, необычный экземпляр.

– Плохо, Пётр Арсеньич, – резюмирует Мхов. – Мы так ничегошеньки и не знаем.

– Будем работать дальше, Кирилл Олегович, – генерал разводит руками.

– Да уж работайте, – роняет Мхов. – Кстати, сегодня как?

– Пока ничего. Не докладывали.

– Работайте, – сухо повторяет Мхов. И уходит обратно в ложу.

На сцене как раз Фафнер, не поделив с братом вознаграждение, бьёт Фазольта тяжёлым колом по голове и, глумясь над умирающим, поёт:

...а колечко-то моё!

И, не торопясь, собирает в мешок оставшееся золото.

Клара неожиданно громко смеётся. Непрожёванная конфета тягучей сладостью пузырится на её губах. Ведомый одной только ей юмор ситуации никак не дойдёт до Мхова. Зато он вдруг чувствует сильнейшее желание, соотносимое, если учесть нахождение поблизости свежего трупа, с некрофилией. Но Мхов об этом не догадывается. Крепко обхватив длинное туловище смеющейся Клары, он втискивает её лицом вниз в узкое пространство между рядом кресел и стенкой ложи. Опускается над ней на колени. Высоко задирает платье. Шарит между влажных ляжек, отыскивая оптимальный путь. Затем с силой вдвигается в хохочущую Клару и горячо функционирует с ней под мощные звуки оркестра.

Долго, очень долго.

Доннер ударами своих молний рассеял тучи над замком.

Вотан пропел хвалу Валгалле, новой обители богов.

Оставшиеся ни с чем русалки жалуются из вод Рейна, умоляют вернуть им золото.

Боги торжественно шествуют в Валгаллу, свой облачный чертог.

И только тогда обессилевший Мхов извергается в загнанную Клару, её финальный вопль высокой чистой нотой вонзается в заключительные, могучие аккорды оперы. Снизу, оттуда, где Клара, душной волной поднимается сырой, как бы мясной запах, и тут Мхов вспоминает, о каком таком мясе толковал ему завлит.

Уже отправив Клару с водителем домой и сидя один в машине, он набирает телефон директора театра.

– Лев Данилыч, это Мхов. Ко мне сегодня завлит подходил. У него небольшая проблема. Да. Кто-то там написал пьесу в стихах. Излишне замороченную. Но, судя по всему, интересную. Ну. Да, «Мясо». Знаете? Да. Что-то антиутопическое. Типа, мясократическое общество и так далее. Да. Ха-ха. Ну, этот автор согласился переделать её в оперное либретто. Для нас. Просит бабок прибавить. Подходил? Сколько? Ну и что? Лев Данилыч, это смешно. Конечно. Вот именно. Да. Понравилось. Мощно. Хорошо. Обсудим. Да говно вопрос. Спокойной ночи.

Мхов, не торопясь, трогает с места. Настроение не то чтобы сильно улучшилось, но явно не такое поганое. Клара... Неудобно получилось с завлитом. Надо при случае извиниться. Завлит свое дело знает, директор им доволен. А он, Мхов, доволен своим театром. Это, конечно, для него не бизнес, так, почти меценатство. Но себя окупает. Опера, в силу своей изначальной помпезности, хорошо жрётся потянувшимися к большому стилю вчерашними мыловарами. Для таких сейчас месяц в театре не показаться – кореша не поймут.

«Ти-да-рам! Па-рам! Па-р-ра-а-а!» – руля по вечерней Москве, Мхов громко напевает из Вагнера.

– Это тромбон, – показала мать. – А этот инструмент называется фагот.

Завтра родители в первый раз поведут его на концерт симфонической музыки. До этого он слышал её только по радио и на пластинках. Ему уже минуло десять. «Пора приобщать ребенка к живой классике», – так решила мать. Ей виднее, она директор музыкальной школы. Его самого в «музыкалку» не отдали, родители постановили, что у него другой склад ума. Какой такой у него склад ума, он сам ещё не знает, но маме с папой виднее. Он и не возражает. Он любит арифметику, рисование, сказки и книжки про героев. Герои, в том числе сказочные, нравятся ему тем, что делают всё правильно и все их за это любят. Он рано понял, что героизм заключается не в самой по себе яркости поступка, а в выборе правильного способа поведения в той или иной ситуации. Он и сам не прочь быть героем и точно знает, что на героев не учат ни в одной школе. В том числе музыкальной.

Мать достала из книжного шкафа музыкальный учебник и велела ему выучить названия всех инструментов оркестра. Кое-что он уже знал – скрипку, например, или трубу, или виолончель. Остальные дались легко, тем более что книжка была с картинками, и к ней прилагалась пластинка с записями звучания всех инструментов по отдельности. Так что можно было для лучшего запоминания связывать в уме названия инструментов с их внешним видом и звуками, которые они издают. Особенно ему понравилась валторна – медная змея, закрученная в кольцо, с широким круглым раструбом, с нежным и в то же время сильным нутряным звуком.

На следующий день вечером они всей семьёй сели в такси, и оно привезло их в филармонию на площади Маяковского. На огромной афише большими буквами была написана программа концерта. Среди прочего стояло: ФРАНЦ ШУБЕРТ. НЕОКОНЧЕННАЯ СИМФОНИЯ.

– Мам, а почему симфония неоконченная? – спросил он.

– Потому что Шуберт ее не дописал, – ответила мать.

– Почему?

Мать пожала плечами.

– Никто не знает наверняка.

– Но версии-то есть?

Это спросил уже отец.

– Шуберт был гений, – подумав, сказала мать. – Но он был гений эксперимента. Во всём. Он экспериментировал со своими чувствами, с музыкой. В этом случае он придумал лирико-эпическую симфонию, соединил песню с эпосом. Попробовал. Мне кажется, он догадался, что у этой музыки нет будущего. И бросил. Я так думаю. Хотя лучше бы не бросал.

– Всё понял? – усмехнувшись, спросил Кирилл отец.

– Не всё. Но в общем понятно.

Впрочем, до конца ему было понятно лишь одно: этот Франц Шуберт, может, и был гением, но он не был героем. Гораздо позже он нашел подтверждения правильности своей детской догадки. Сумасшедшее личное обаяние и ошеломляющая лиричность музыки Шуберта делали этого маленького, нелюдимого человечка в смешных круглых очках предметом страсти многих женщин. Но ни одна из них его не любила. Его вообще никто не любил, поэтому он и умер в 31 год. Организм, подкошенный затяжным сифилисом, сдался средней тяжести пищевому отравлению.

Внутри, в фойе Зала Чайковского, было много света и нарядных людей, с некоторыми из них мать с отцом раскланивались, здороваясь. Из чего он сделал вывод, что здесь собирается, хотя бы в части своей, более-менее постоянная публика и его родители явно из её числа.

Потолкавшись немного в фойе, родители привели его в большой зал, где рядами тянулись кресла, а на сцене громоздились пюпитры с раскрытыми нотными тетрадями. Здесь же на стульях и посреди них расположились в ожидании музыкантов их инструменты. Он сразу узнал большие пузатые контрабасы, литавры, похожие на кухонные котлы (не хватало только развести под ними огонь), длинный коричневый посох фагота, тщедушные тёмные тельца деревянных духовых, резко отражающие яркий свет прожекторов тромбоны и трубы, а вот и валторны, свернувшиеся, как маленькие питоны на солнцепёке.

Мало-помалу заполнялся зал. Люди входили, рассаживались, вполголоса переговаривались, шуршали программками. Он сидел между матерью и отцом, грыз огромный красный леденец, купленный специально для него в буфете, слушал разговор родителей поверх его головы.

– Олег, ну что Ганиев? – спросила мать.

– А-а, – отец досадливо поморщился, – звонил сегодня утром, извинялся.

– И?

– Ну что и? Я говорю, мол, я тебя, Рафик Ганиевич, конечно, прощаю...

– Ну во-от, – досадливо протянула мать.

– ...но больше ко мне не обращайся никогда ни за чем.

– А он?

– А что он? Проглотил.

– Правильно, – мать покивала головой. – Но, Мхов, – тут её голос сделался решительно-твёрдым, – всё равно надо быть жёстче. Что значит, прощаю? Такие вещи...

– Галя! – тихо прервал её отец, показав глазами на сына, чутко вслушивающегося в их разговор.

Мать осеклась и, развернув программку, принялась внимательно её изучать.

– Обожаю Городовского! – вдруг воскликнула она.

Кирилл вопросительно на неё посмотрел.

Мать объяснила:

– Василий Городовский – это дирижёр. Один из лучших.

– Дирижёр?

– Дирижёр – это главный человек в оркестре. От него зависит, как играет оркестр и играет ли вообще.

– А сам этот... дирижёр? Он-то на чём играет?

– Дирижёр ни на чём не играет, – улыбнулась мать.

– Вернее, он играет сразу на всём оркестре, – дополнил отец.

– Как это? – не понял Кирилл.

– А вот смотри, – отец кивнул в направлении сцены. – Сейчас сам всё увидишь.

В зале тем временем притушили свет, а пространство сцены заметно оживилось. С двух сторон на неё выходили люди, мужчины и женщины. Первые были одеты в диковинные длинные чёрные наряды с разрезом сзади, чёрные же брюки и белые рубашки с галстуками, похо-

жими на крылья больших бабочек. На женщинах были также чёрные жакеты и длинные юбки плюс белые блузки с узкими чёрными полосками ткани вокруг шеи.

Когда они расселись по своим местам и взяли в руки инструменты, на сцену уверенным шагом хозяина вышел ещё один человек, тоже в чёрном, очень высокого роста, с длинными прямыми волосами цвета соломы. Его встретили дружными аплодисментами. Человек этот приблизился к пульту, находившемуся прямо перед оркестром, повернулся спиной к залу, взял в правую руку какую-то длинную, тонкую палочку.

Сразу вслед за этим на сцене появилась красивая женщина в длинном нарядном платье с блёстками и что-то объявила звучным голосом. Потом она удалилась, громко стуча каблучками. А высокий человек, стоящий перед оркестром, развел руки в стороны (музыканты взяли инструменты наизготовку) и на несколько секунд застыл в этой позе. И вдруг – неожиданно и резко взмахнул своей палочкой. Немедленно оркестр пришел в движение и (тоже вдруг) издал оглушительный, плотный, затяжной звук, сплетённый, по меньшей мере, из сотни звуков, и оборвавшийся так же внезапно, как и возникший.

После этого на сцене пошла такая работа, что Кирилл с всё возрастающим интересом принялся следить за происходящим. Как оказалось, музыка – занятие не для слабаков, её извлечение связано с немалыми затратами физической силы; музыку делают энергичными, синхронными движениями многих смычков, шустрой беготней пальцев по струнам и кнопкам, быстрой и отчетливой дробью колотушек о тугую кожу барабанов и литавр, мощными ударами друг о друга гигантских железных тарелок, интенсивным вдуванием воздуха из лёгких в извилистые чрева медных духовых и ещё многими и многими специальными действиями, за которыми, как видно, стоят часы и годы изнурительных тренировок.

Но наибольшего восхищения, несомненно, заслуживал тот, в чьём умении и власти было останавливать и снова запускать, приглушать и опять заставлять звучать на полную катушку все сразу и каждый по отдельности мощные механизмы производства музыки. Это-то и был дирижёр, играющий, как выразился отец, сразу на всём оркестре. Именно он, размашистыми движениями рук в одиночку заправлявший столь масштабным звукоизвлечением, впечатлил Кирилла более всего виденного и слышанного в этот вечер.

Что до самой музыки, то она, при всей её красоте и несомненной значимости, показалась ему какой-то зашифрованной что ли; как если бы за голосами инструментов скрывались совсем иные звуки, пугающую загадку которых ему очень бы хотелось разгадать. Так думал он по дороге домой, с надеждой поглаживая в кармане неразлучное колёсико.

Поздно вечером в своей кровати он какое-то время лежал без сна, додумывая мысли уходящего дня (колёсико холодило ладонь под подушкой), а когда сон начал подступать к нему, смежил веки и шёпотом стал повторять ставшие уже привычными слова: «Колёсико, катись! Катись, колёсико!» Оно и покатилося – как обычно, с первыми каплями сна, упавшими с потолка и запечатавшими его глаза и уши сладким чёрным воском.

Он еле поспевал за колёсиком, споро бежавшим через луга, заросшие крупными, живыми цветами. Резко светило солнце. Цветы шевелили сухими губами, наперебой говорили с ним, кивали ему со своих неподвижных прямых стеблей. На ходу он нагнулся и сорвал один цветок. Тот тонко вскрикнул, ярко-жёлтая головка тут же отломилась, покатилося прочь, жалобно ворча и ругаясь. В его руке остался стебель – длинный, гладкий палец-палочка, подобный предмет он уже видел у дирижёра.

Луга вдруг кончились. Колёсико привело его к внушительному строению из тёсаных бревен, приземистому, но такому длинному, что его противоположный край был почти не виден. Вокруг не было ничего кроме абсолютно пустого места, залитого солнечным светом. Приблизившись, он увидел низкую дверь в стене. Она открылась сама собой. Колёсико шмыгнуло в дверь, он за колёсиком. Внутри обнаружилось огромное полутемное пространство, заставлен-

ное длинными шеренгами деревянных стульев. Между ними тянулся узкий проход. В конце его, где-то вдалеке, угадывалась ярко освещённая сцена. Колёсико катилось по проходу, тихо шуршало резиной по дощатому полу, подпрыгивало на редких сучковатых неровностях. Следуя за колёсиком, он оглядывался на людей, плотно заполнивших зрительские ряды. Очень скоро он понял, что здесь – только его отец и мать, просто их необычайно много. Наверное, тысячи его родителей сидели неподвижно в полной тишине и каждый из них умудрялся не смотреть ни на кого из сидящих вокруг.

Вот сцена. Оркестр уже ждёт его. Он взошёл на своё место перед музыкантами. Те дружно раскрыли футляры и достали инструменты. Присмотревшись, он обнаружил, что это какие-то особенные инструменты. Ну конечно! В руках у оркестрантов в виде музыкальных инструментов были люди – большие и маленькие, толстые и тонкие. Вот человек-скрипка и человек-гобой, вон там человек-контрабас и человек-фагот, а это человек-туба и человек-тромбон, ага! человек-валторна! подальше человек-барабан... а это что? так... человек-кларнет... так... надо же! человек-арфа, вернее, много вытянутых в струну человечков, напряжённо дрожащих, намотанных на колки внутри большой, чуть шевелящейся изогнутой рамы.

Что ж, пора начинать, публика (ха! сплошь мама и папа) в нетерпении принялась ёрзать на своих скрипучих сиденьях. Ничего, спокойно. Он вытянул руки на ширину плеч, подражая давешнему дирижёру, коротко глянул на музыкантов. Те сосредоточенно-серьёзно ждали его указаний. Тогда он взмахнул своим пальцем-палочкой и решительно ткнул им для вступления в сторону человеко-арфы. Музыкант послушно предпринял подряд несколько жёстких движений обеими руками, раздался переливчатый хор боли, прерванный гулким всхлипом человеко-литавры, которому, в соответствии со следующим движением дирижёра, крепко вломили колотушкой по плоской голове.

Для начала неплохо! Теперь он повёл рукой в сторону человеко-скрипок; под пилящими движениями смычков те тихо взвыли тонкими голосами, и тут же их поддержал ритмичный обыгрыш из протестующего деташе человеко-альтов, вымученных арпеджио человеко-виолончелей и дерганных вскриков человеко-контрабасов.

Так. Хорошо бы добавить меди! По его знаку, трубачи немедленно поднесли к губам свою блестящую живность и резко вдули ей в уши солидную порцию воздуха. Человеко-трубы пронзительно закричали на разные голоса, выстраивая какие-то нездешние трезвучия, в которые постепенно встроились грубые вопли человеко-тромбонов и болезненное уханье человеко-туб.

С аккомпанементом разобрались. Нужна мелодия! Скомандовав медным и струнным рiано, он дал вступление деревянным духовым. Раздался безнадежный плач человеко-гобоев, бессвязные рыдания человеко-кларнетов, затухающее дыхание человеко-флейт. Горькое крыканье человеко-фагота прозвучало, пожалуй, диссонансом и было резко оборвано властной рукой дирижёра.

Теперь соло! Постепенно переведя весь оркестр в режим жалобного бормотания, он с воодушевлением бросил обе руки в сторону валторнистов. Те так рьяно взялись за дело, что унисон человеко-валторн взвился долгим предсмертным пением, подготавливая закономерный финал.

Еле уловимым косым движением пальца-палочки он заставил оркестр разом умолкнуть, некоторое время напряженно работали только скрипачи, щипали измученные тела человеко-скрипок острым, безжалостным *pizzicato*. И – сразу tutti! С *forte* до *forte-fortissimo* через грохочущий водопад боли и страдания!

Coda! Подчиняясь его всепроникающему порыву, музыканты выжали из своих человеко-инструментов всё и сразу. Эта окончательная человеко-музыка словно раздвинула воздух вокруг себя, разорвала его грохотом ужаса пополам с воем отчаяния и, наконец, обрушилась вниз смертельной тишиной.

Он постоял немного без движения, упиваясь этим чудным безмолвием, усталый делатель настоящей музыки, потом, как положено, повернулся лицом к публике, резко согнулся в глубоком поклоне в ожидании грома аплодисментов. Но молчание было ему ответом! Публика сидела без движения, равнодушно глядя множеством родительских глаз мимо него, потом все как по команде встали и как-то сразу куда-то подевались. Ушли и музыканты, побросав, как попало, своих нелепых мертвецов. Он остаётся один, что, по всем правилам охраны VIP-персон, считается совершенно недопустимым. Вот и генерал Срамной постоянно ему пеняет, мол, нельзя так, Кирилл Олегович, непозволительно это с любой точки зрения. Но Мхов, всё отлично понимая, требуя, кстати, от жены соблюдения правил личной безопасности, сам иной раз норовит отослать водителя, избавиться от охраны и в одиночестве проехать по городу. Это, хоть и не надолго, возвращает его в те славные времена, когда он мог позволить себе обычную повседневную свободу, от которой сейчас не осталось и следа.

Садясь за руль, Мхов сосредотачивается на вождении и старается не смотреть по сторонам. Ему не нравится то, что его окружает. Детские впечатления ничего не значат, нынешний Мхов не любит Москву.

Давно ещё, как только он стал ездить за рубеж и увидел европейские столицы, он узнал, что байки о самом прекрасном в мире городе, о Москве-красавице, не имеют ничего общего с правдой. Например, Мхов понимает, что такое красавец Рим, красавец Мадрид, на худой конец, красавец Париж. Он более чем понимает, что такое мрачноватая красота лондонской англиканской готики. Но что такое красавица Москва – он не может понять, сколько не старается. Наоборот, ему активно не по душе её архитектурная безалаберность, кособокость и полное отсутствие стиля. Особенно ему отвратительны глупые, напыщенные постройки последнего времени, все эти агрессивно-тоскливые пародии на купеческо-московский стиль. Во многом из чувства протеста он построил свой загородный дом в полном несоответствии с тем, что есть вокруг. Его дом – это четырёхэтажная четырёхугольная башня из кирпича и мрамора. Просто башня и ничего более.

Мхову обидно, что город, в котором он родился и живет, настолько ему не мил. Обидно не за город, хрен бы с ним, с городом, а за себя.

Он бы с удовольствием уехал и жил в той же Англии или, наоборот, на берегу тёплого моря-океана, но беда в том, что его нынешняя жизнь не предусматривает добровольного отказа от неё. Его жизнь состоит из бесконечного наматывания концентрических кругов; с каждым новым витком окружность увеличивается и соответственно увеличивается охват денег, людей и обстоятельств. Нельзя ни остановиться, ни даже просто замедлить бег: вмиг будешь раздавлен и сметён сопутствующими и противостоящими деньгами, людьми и обстоятельствами.

Да и, совсем уж честно говоря, было бы что-то неправильное в отказе от того, что досталось ценой нескольких лет неимоверного напряжения и страха: когда в первой половине 90-х таких как он отстреливали почти через одного.

Погружённый в эти порядком уже надоевшие мысли, Мхов незаметно для себя проезжает через центр, минует Калининский, Кутузовский, доезжает до Минского шоссе и теперь гонит свой квадратный «пятисотый» по направлению к дому. Съехав с основной трассы, он прибавляет газу – дорога здесь сразу за поворотом поднимается в гору. Взлетев наверх, Мхов, не сбавляя скорости, идет на спуск и начинает тормозить, лишь когда впереди показывается следующий поворот, ведущий к посёлку. И вдруг, когда до поворота остаётся метров сто пятьдесят, слева из леса на дорогу выскакивает некто маленького роста и застывает в каких-нибудь двадцати пяти-тридцати метрах прямо перед несущимся на него автомобилем. Ещё не полностью темно, к тому же Мхов едет с включенным дальним светом, поэтому ему не составляет труда узнать человека, так неожиданно появившегося на дороге. Это его сын; Алексей стоит на роликовых коньках вполоборота, твёрдо расставив ноги, засунув руки в карманы джинсов.

Эта картина во всех подробностях отпечатывается в голове Мхова уже тогда, когда он, ударив по тормозам и вывернув руль, летит в своем кренящемся гелендагене по направлению к оврагу слева от дороги. Уже в овраге автомобиль, окончательно потеряв скорость, пару раз переворачивается на склоне и замирает сверху колёсами.

Зная наверняка только то, что он жив, Мхов вылезает из машины через то место, где только что было лобовое стекло, и, спотыкаясь, поднимается на дорогу. Там уже никого нет, сын исчез, даже не поинтересовавшись, жив ли водитель автомобиля, улетевшего по его вине в овраг. Мхов с минуту раздумывает, что бы это значило, но происшедшее настолько прибило его, что на какое-то время он тупеет, теряет способность анализировать и находить адекватные решения. Он с трудом соображает, что неплохо было бы позвонить Срамному (поставить его, как положено, в известность касательно нештатной ситуации) и домой, чтобы жена приехала за ним. Мхов спускается обратно к машине, осматривает перевёрнутый джип и только теперь до конца понимает, что побывал в нешуточной переделке. Он осторожно, не спеша, ощупывает всего себя и не находит ни переломов, ни даже сколько-нибудь серьезных ушибов. Так, немного побаливает плечо, ноют рёбра и чуть кровоточит царапина на скуле. Да. Машина почти не помята и соответственно он тоже. Крепкое изделие, ничего не скажешь. Не зря концерн «Даймлер – Бенц» спроектировал эту модель для немецкой (или саудовской?) армии.

Мхов проникает внутрь автомобиля, нашаривает где-то под сиденьем мобильный телефон, выползает наружу. Но трубка мертва, ей повезло гораздо меньше, чем ему. Он зашвыривает бесполезный аппарат в салон; что ж, придется добираться своим ходом.

До дома остаётся километра четыре. Уже совсем стемнело, из леса тянет холодом, там, среди деревьев и кустарника, что-то пугающе постукивает и шуршит. Мхов пускается в путь, пытаясь думать о случившемся. «Почему Алексей оказался здесь в такое время? Зачем он выскочил на дорогу прямо под колёса машины? Его машины? А заметил ли он, что это машина отца? Вряд ли. Темновато. К тому же его ослепил свет фар. Кстати, почему он стоял, как вкопанный, как будто специально ждал, когда его собьют? Растерялся? А потом испугался, что водителю хана и сбежал? Не знал, что за рулём отец? А если бы знал? А если знал?! Дичь какая!»

Вопросы без ответов острыми камнями крутятся в голове Мхова, колотятся, царапаются, гремят.

Мучаясь этим, Мхов замечает новенькую БМВ-«пятёрку» только когда она обгоняет его и останавливается, блестя и сверкая в собственном свете как новогодняя ёлка. На широком заднем бампере автомобиля крупно выведено: АСКОЛЬДОВА МОГИЛА.

Дверца с водительской стороны решительно распахивается, тишину раскалывает оглушительный, сочный баритон Розенбаума:

*Гоп-стоп! Семен, засунь ей под ребро!
Гоп-стоп! Смотри не обломай перо
Об это каменное сердце
Суки подкольной...*

– Здравствуйте, Кирилл Олегович! – перекрикивая песню, Мхова приветствует среднего роста мускулистый крепыш лет двадцати трёх с обритой наголо головой и накачанной шеей, одетый явно не по осени в кожаные сандалии на босу ногу, пестрые джинсовые шорты и просторную белую майку с короткой надписью на иврите.

– Здорово, – отвечает Мхов, подходя ближе.

– Эй, зайки, сделайте-ка тихо, – приказывает хозяин БМВ внутрь салона, и тут же неведомые «зайки», скрытые тонированными стеклами, послушно вырубает музыку.

– Кирилл Олегович, что вы тут делаете в такое время? – интересуется молодой человек, вылезший из «Аскольдовой могилы». – Случилось чего?

– В овраг улетел, – коротко объясняет Мхов, пожимая короткую, широкую, как лопата, ладонь.

– Дела! – крепыш внимательно осматривает Мхова с ног до головы. – Целы? Повезло!

– Курить есть? – спрашивает Мхов.

– Я ж не курю! Зайки, родите-ка сигарету!

«Зайки» внутри БМВ мигом «рожают» и передают наружу штуку «Мальборо».

– И зажигалку.

– Зайки, и зажигалку!

Мхов закуривает, полузабытый дым сжимает лёгкие, немного прочищает голову. Аскольд, непутёвый внук друга отца – Аркадия Борисовича Липкина – и сын его, Мхова, дружка детства – Семёны Липкина, – сочувственно глядит на него.

– А тачка? Вы на каком из своих «меринов» были?

– На джипе.

– А! Повезло! – Аскольд задумывается. – А водитель-то!?

– Я один ехал.

– Ну? Как это? Такие люди. И без охраны. – Аскольд немного забылся и теперь сам пугается своей фамильярности, съживается под затяжелевшим взглядом Мхова. – Извините, Кирилл Олегович. Хотите, я вас до дома довезу?

Мхов кивает. Он докуривает сигарету до фильтра, подошвой втирает бычок в асфальт. Аскольд, обойдя машину, предупредительно открывает перед ним переднюю дверцу.

А вот и «зайки». Три симпатичные проститутки, сильно моложе Аскольда, тарашатся на Мхова, ухмыляются с заднего сиденья, по очереди прикладываются к ликёру «Гранд Марнье». Щедрая душа Аскольд (таким «зайкам» и по пиву хватило бы), усевшись за руль, грубо рвёт машину с места на повышенной передаче. Визжат, дымятся покрышки, протестующе кричит коробка передач. Мхов морщится. Он не любит, когда так обращаются с дорогой техникой. Он вообще не понимает способа жизни таких как Аскольд, молодых да ранних. Голое безумие – что в делах, что в тратах. На месте Семёна, Аскольдова отца, он бы хорошенько надавал сыну по жопе за бессмысленное прожигание бессмысленно делаемых денег. Но Семён наоборот сам вынужден тратиться, время от времени выручая сынка из разных передряг. Интересно, сколько ему в прошлом году стоило закрыть уголовное дело и вытащить Аскольда из Бутырской тюрьмы, где тот просидел под следствием пять месяцев? Ну да, там ещё подключился семидесятилетний дедушка, в прошлом замрайпрокурора, задействовал старые связи...

Да что он об Аскольде, о чужом сыне? С его-то собственным сыном – что? Не умея ответить на этот вопрос и чувствуя себя поэтому полным идиотом, Мхов с беспокойством ощущает, как в нем злою опухолью надувается враждебность к Алексею словно к какой-то чужой, опасной и непонятной материи.

– Приехали, Кирилл Олегович, – Аскольд останавливается у ворот его дома.

– Спасибо, Аскольд. Семёну и деду привет передавай.

– А их нету. Отец с матерью в городе зависли, дела... а дед второй месяц в Америке у племянника гостит. В этом, как его, Виннипеге.

– Теперь понятно, – усмехается Мхов, кивая на «заек». – Тогда удачи.

– Постараюсь, – надувается Аскольд. – Марии Петровне привет.

– Хорошо. А Виннипег в Канаде, – говорит Мхов, захлопывая за собой дверцу автомобиля.

– Не один хрен?

«Аскольдова могила» отъезжает, заворачивает за угол. Мхов достаёт из кармана пульт автоматического открывания ворот, жмет на кнопку. Тяжёлые металлические створы медленно разъезжаются и так же неспешно смыкаются уже за спиной у Мхова.

– При-иве-ет, – жена, одетая в ветровку поверх тёплого свитера, машет рукой из ротонды. – А мы тут с Надюшей вот...

Ясно-понятно. Посиживают с соседкой Надькой из дома напротив, дуют «Мэйфлауэр», согреваются.

– Добрый вечер, – здоровается Мхов, рассеянно целует Марию в щёку.

– Налить? – жена кивает в сторону полупустой бутылки с коньяком.

– Не-а, – Мхов отрицательно мотает головой. – Где Алексей?

– В доме.

– Давно?

– Минут десять как. Говорит, на роликах катался по посёлку.

По посёлку, стало быть. Ладно.

– Ой, а что это ты без машины? – замечает, наконец, Мария. – За воротами оставил? Уезжаешь что ли на ночь глядя?

Мхов отзывает жену в сторону:

– Маш, ты проводи Надежду.

– Зачем это?

– Так надо.

Жена, надувшись, идёт в ротонду, шепчется с соседкой. Та поднимается, дамы выпивают на посошок, закусывают яблоком. Мария провожает Надежду до ворот, отпирает калитку, выпускает гостью.

– Мхов, я не поняла, ты ж на «пятисотом» уезжал, – говорит она, возвратясь. – Ой, а где это ты оцарапался, – и тянется к его щеке.

– Машина в овраге у поворота. Вылетел с трассы, – спокойно говорит Мхов.

– Ай, – жена в испуге прижимает ладони к щекам.

– Алёшка выскочил на дорогу прямо передо мной. Я и...

– Ай!

– Да кончай ты айкать. Говоришь, он за десять минут до меня появился?

– Примерно. Ничего не сказал. Говорит, по посёлку катался. Как же это? Ничего не понимаю.

– Я сам не понимаю, – Мхов устало глядит на жену. – У тебя телефон с собой?

Мария достаёт из кармана ветровки свой мобильный, протягивает мужу. Мхов набирает номер.

– Пётр Арсеньич, это я. Да. Тут такое дело, не справился с управлением. Да дома я, дома. Всё в порядке. Да нет же, нет. Прямо перед поворотом к посёлку. Сам. Ну один, один. Ну ладно, Пётр Арсеньич. Ну виноват. Каюсь. Нет. Сосед подвёз. Нет, не думаю. Ну проверьте. Да, пускай прям сейчас подъедут, заберут машину. Никаких ментов. Всё. До завтра.

Мхов возвращает жене трубку.

– Надо с Лёшкой разговаривать, – глухо произносит он. – Сил нет.

– Пойдём вместе, – Мария берёт его под руку.

– Я сам.

– Господи, что же это такое творится? – тяжело вздыхает жена и идет вслед за ним к дому.

В спальню сына на третьем этаже Мхов входит без стука. Раньше он не позволял себе этого никогда, но теперь, похоже, всё поменялось. Алексей сидит перед компьютером, вглядывается в раскрытое окно какого-то чата. Он быстро оборачивается, недоумённо-насторожённо смотрит на отца.

Мхов застывает в дверях, ему трудно сделать шаг, он физически чувствует действие неведомой взаимоотталкивающей силы, вставшей между ним и сыном.

– Зачем ты выскочил на дорогу? – недолго думая, спрашивает он.

– На какую дорогу? – в глазах Алексея лёгкая паника.

– Что ты вообще там делал?

– Где?

Мхов понимает, что он снова в тупике, как тогда, при попытке разговора о случае с собачкой, и еле сдерживается, чтобы не заорать что-нибудь грубое, непотребное.

– Лёш, – говорит он, ещё на что-то надеясь, как можно тише, – в той машине был я.

– В какой машине? – угрюмо спрашивает сын.

У Мхова темнеет в глазах, он знает, что надо уходить, но продолжает говорить, срываясь на шёпот:

– В той машине... которая из-за тебя... из-за тебя улетела в овраг... – и вдруг кричит так, что у самого закладывает уши, – в машине! в которой я! я ехал! в которой я! я чуть насмерть не разбился! гадёныш!

И, почти задохнувшись, заходится в кашле.

– Уйди-и-и-и! уйди-и-и-и! уйди-и-и-и! – вдруг тонко кричит сын, но Мхов уже и сам выскакивает вон, страшно грохнув дверью.

Жена стоит напротив, у двери в спальню дочери. Её губы некрасиво трясутся, она плачет.

Мхов беспомощно разводит руками.

– Я не знаю, что делать.

Мария горестно кивает в ответ.

– Я во дворе немного побуду, – говорит Мхов.

И уже с лестницы, вспомнив:

– Маш! Тебе от Аскольда привет!

Недопитая бутылка коньяка стоит на столе в ротонде. Мхов выливает всё до капли в большой стакан и пьёт залпом, большими глотками. Алкоголь быстро разжижает мозги, становится легче. Из-за дома слышится веселый смех вперемешку с немецкой речью. «Пойти развеяться, – думает Мхов, – немцы ребята весёлые».

За домом возле бассейна Карл-Хайнц и Фридрих развалились в деревянных шезлонгах возле своего трейлера. Они пьют пиво, рядом на специальной жаровне готовятся аппетитные толстенькие колбаски, нанизанные на специальные шпажки.

– Gruss, Fridrich! Hallo, Karl-Heinz! – *Здорово, Фридрих! Привет, Карл-Хайнц!*

– Guten Abend, Boss! – *Добрый вечер, босс!* – наперебой здороваются немцы.

Карл-Хайнц, высоченный голубоглазый блондин с длинными выющимися волосами и густыми пшеничными усами, встает со своего места.

– Nehmen Sie den Platz, Boss. Trinken Sie mit uns. – *Садитесь, босс. Выпейте с нами.*

– Danke, bleibe Ich here, – *Спасибо, я вот тут,* – Мхов усаживается на ступеньки трейлера. – Beer, meinerwegen, nehme ich. – *Пива, пожалуйста, выпью.*

Фридрих, полная противоположность Карл-Хайнцу, маленький плотный брюнет, мигом откупоривает банку «Йевера», передаёт Мхову. Тот делает большой глоток, пиво прохладным комом падает на принятый коньяк.

– Na und, schaffen Sie rechtzeitig? – *Ну как, закончите вовремя?* – спрашивает Мхов.

Он знает, что вопрос этот лишний, немцы сделают работу день в день по договору, но так, для порядка, почему бы не поинтересоваться?

Немцы подхватывают игру.

– Ja, Ja, natuerlich, Herr Boss, – *Да, да, конечно, босс,* – важно отвечает Фридрих и смотрит на Карл-Хайнца.

Тот, наморщив лоб, подтверждает:

– Ja, Ja, wieso anders, selbstverstaendlich! – *Да, да, а то как же!*

С минуту они молчат, сосредоточенно хлебая пиво.

Потом Мхов говорит:

– Hab mal oueres Gelaechter gehoeht. Neuer Witz? – *Я слышал, смеялись вы тут. Новый анекдот?*

– Nein, – *Нет*, – отвечает Фридрих. – Karl-Heinz erinnerte sich an der Geschichte seines Lebens. Eine ganze Wucht von diesen. Jede faellst vor Lachen um! – *Карл-Хайнц истории из жизни вспоминал. У него их до хрена. И все – обхохочешься.*

– Doch, erzahl eines, – *Ну, расскажи что-нибудь*, – просит Мхов.

Карл-Хайнц откупоривает ещё три банки, раздаёт пиво, закуривает. И начинает:

– Es war im vorvorigen Jahr, wenn Ich als Feuerwerker bei europeischen Gastspielreise von Rammstein beigeschlenderte. – *Было это в позапрошлом году, я тогда пырлял пиротехником в европейском турне группы «Раммштайн».*

– Die jenige, die Herr Kanzler Schmachten der Nation genannt, – *Это про которых канцлер сказал, что они – позор нации*, – уточняет Фридрих.

– Na und, – *Ну да*, – морщится Карл-Хайнц. – Selbst ist er beigeschlafenen Schmachten. Schweinehund. Na und. Gewoenliche Gastspielreise. Wie immer ist es ein und dasselbe. In jedem Ort von ortsansaessigen Maedchen kann man sich ihrer nicht erwehren. Benommend von solcher Dresche legen sie sich nach Konzert aufstapelnd. Herr Direktor der besten fuer Knaben aus Gruppe auswaeht, den Rest uns wirft hinunter – den Beleuchtern, den Feuerwerkern, den Monteuren, in kurzen Worten – den unermuedlichen Arbeitern. Das fehlte gerade fuer alles. – *Сам он ёбаный позор. Собачья свинья. Ну вот. Турне как турне. Всегда одно и то же. Куда не приедем, от местных девок отбоя нет. Охренеют от такого молотилова и после концерта штабелями ложатся. Ну, директор кого получше для ребят из группы отбирает, а остальных нам сбрасывает – осветителям, пиротехникам, монтировщикам, короче, работягам. Хватало на всех.*

– Pass auf, – *Погоди*, – перебивает его Фридрих, – Wuerste sind bereit. – *колбаски готовы.*

Он ловко подхватывает с жаровни три шпажки и Мхов получает свою долю. Тонкая шкурка лопается на зубах, ароматный, горячий сок попадает на язык, течёт по подбородку. Мхов заливает пожар пивом.

Карл-Хайнц, между тем, продолжает с набитым ртом:

– Das war in Tschechai. Kommen nach Prag an. Alles laeuft wie immer. Durchgearbeitet, Maedchen teilte, rollen wir zusammen einer Bierstube an. Mir wurde eine dunkelhahrige, braune zutei. Na und, sitzen wir, trinken, quetschen. Und meine sagte mir: «Weisst Du, ich bin Zigeunerin!». Ich sagte: «Es ist mir ganz egal. Fuer mich bist Du eine ja prima Maedchen mit grossem Gesaess». Und greife ihr unter dem Rock. Und bestosst meine Fresse! Ich sage: «Was machst Du, Hure, bist betrunken?» Und sie: «Weisst Du was, gemeiner Kerl, sie – Deutschen haben meine Urgrossmutter im Getto zu Tode geschindet». Da sieh mal einer an! Aber moechtete den Abend retten. Sage: «Jana! – sie heisst Jana, – Jana! Wozu ist es? Ich mag keine Nazzis auch...» Sie rueffelt, schreit aus vollem Halse pro ganze Bierstube: «Alle Deutsche sind in Graebe einzuschlagen!» Die Toene verstummen, alle sich kehren, und unseren Kerlen fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. Und ich versuche ihr zu beruhigen: «Hoer zu, bitte. Doch waren auch guten Deutschen...» Sie kreischt dann: «Guten Deutschen – in guten Graebe!!!» Und mit diesen Worten springt sie auf von Banken, steht in Krebspose, hebt den Rock hoch, zieht die Slips ein und scheisst gerade auf meinen Knie! Und so wohlschmekend, als waehrend ganzes Lebens gespart hatte! Und endlich einen geeigneten Fall erwartet hatte!!! – *Дело было в Чехии. Приезжаем в Прагу. Всё как всегда. Отработали, поделили девок, подались с ними в пивную. Мне досталась тёмненькая такая, смугляночка. Ну, сидим с ними, пьём, лапаемся. Тут моя мне и говорит: «А ты знаешь, что я цыганка?» Я говорю: «Да мне это по барабану. Для меня ты просто классная, жопастая тёлка». И лезу ей под юбку. А она мне по морде хрясь! Я говорю: «Ты чего, сучка, нажралась?» А она:*

«А ты знаешь, сволочь, что вы, немцы, мою прабабку в гетто заморили?» Вон, думаю, в чём дело! Но пытаюсь спасти вечер. Говорю: «Яна! – её Яной звали, – Яна! Ну зачем ты так? Я тоже не люблю нацистов...» Она в разнос, орёт на всю пивнушку: «Всех немцев в гробы!» Вокруг притихли, оборачиваются, у наших ребят аж глаза повылазили. А я всё её успокаиваю: «Перестань, пожалуйста. Ведь и тогда были хорошие немцы...» А она как завизжит: «Хороших немцев – в хорошие гробы!!!» И с этими словами вскакивает с лавки, встаёт раком, задирает юбку, спускает трусы и срёт мне прямо на колени! Да так смачно, как будто всю жизнь копила! И вот дождалась, наконец, подходящего случая!!!

Тут Мхов чуть не давится колбасой, потому что Фридрих вдруг дико вопит у него над ухом – «oohhaahhuu!» – «оооаауу!» – и начинает хохотать безудержно, громко, захлёбываясь и подвывая. Рассказчик скалится, довольный произведённым эффектом, а Мхов, тоже вроде начавший по инерции смеяться, в какой-то момент понимает, что ему не смешно. Более того, ему противно. Он резко встает, и тут французский коньяк, немецкое пиво и немецкая колбаса московской выделки, тяжелой массой болтающиеся у него в желудке, бросаются ему прямо в горло. Мхова выворачивает наизнанку. Его густо рвёт на землю, он чувствует, что вместе с содержимым желудка из него выходит вся отрава сегодняшнего вечера. «И это хорошо», – с облегчением думает он.

Балансируя на грани забывтья, он добирается до дверей дома, поднимается в свою спальню-кабинет на четвёртом этаже, не раздеваясь, бросается на широкий кожаный диван и в то же мгновение засыпает. Ему снится огромная сверкающая рулетка, крутящаяся в небе, величиной в полнеба. По кругу, подскакивая, мчится его голова, даже когда она ещё была головой ребенка, постоянно думала о происходящем. Главной его заботой было вести себя так, чтобы никто даже не заподозрил, что внутри него идёт постоянная война против «нельзя» и «надо». «Нельзя врать, потому что родители всё равно узнают правду!» – это отец. «Надо есть хлеб с маслом, потому что так делает Гагарин!» – это мать.

«Нельзя» и «надо» были ключевыми словами в системе воспитания, придуманной для него родителями. Тем самым они, сами того не подозревая, воспитывали в нём героя. Это понятно: ни один герой на свете не делает того, чего он хочет. Наоборот, осознание необходимости проявления героизма обязательно проходит через «нельзя» и упирается в «надо». Так, любимый герой его детства Прометей сначала осознал, что ему нельзя быть безучастным к страданиям людей, а потом понял, что ему надо преступить закон и пожертвовать собой для прекращения этих страданий.

Много лет спустя, он с досадой наблюдал за словесными баталиями вокруг несостоявшегося, к его глубокому сожалению, героя – генерала Аугусто Пиночета. Когда того задержали в Англии и устроили долгую тёрку насчёт того, выдавать или нет чилийского реформатора-кровапускателя испанскому суду, то в Москве, по ТВ и в прессе, разного рода околополитические публицисты, разделившись на два лагеря, яростно заспорили друг с другом. Одни говорили, что Пиночета необходимо судить. Другие доказывали, что у Пиночета нужно учиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.